

Послесловие автора к изданию 2014 года

Когда летом 2008 года я впервые задумался об этой книге, я много размышлял о приближавшемся тогда финансовом обвале. Многие люди, интересовавшиеся этими вопросами, признавали, что крах в той или иной форме неизбежен — разумеется, за исключением тех, чей профессиональный интерес заключался в отстаивании противоположной точки зрения. Именно этот более широкий политический контекст превратил книгу, которая изначально мне представлялась научной и теоретической, в нечто намного большее — в попытку понять, возможно ли по-прежнему использовать интеллектуальные инструменты, доступные такому человеку, как я, — исторические, этнографические, теоретические методы — для того, чтобы повлиять на общественные дебаты, касавшиеся действительно серьезных вопросов.

Отчасти по этой причине я также решил, что хочу написать большую, всеохватывающую научную книгу — такую, каких теперь уже никто не пишет: это относится прежде всего к антропологам, к числу которых принадлежу и я. Я всегда считал, что есть грустная ирония в том, как антропологи соотносят себя с остальным научным миром. По меньшей мере на протяжении столетия антропологи выступали в роли назойливых слепней: всякий раз, когда какой-нибудь амбициозный европейский или американский теоретик делает грандиозные обобщения относительно того, как люди устраивают свою политическую, экономическую и семейную жизнь, обязательно появляется антрополог, который считает своим долгом показать, что на Самоа, на Огненной Земле или в Бурунди есть народы, делающие всё совершенно иначе. Но именно по этой причине антропологи — единственные люди, которые способны делать широкие обобщения, выдерживающие проверку фактами. Тем не менее мы всё явственнее ощущали, что в таком поведении есть что-то неправильное. Есть в нем некоторый налет высокомерия и даже интеллектуального империализма.

Однако меня осенило, что именно такая большая сравнительная работа сейчас и нужна. Было две причины, которые толкнули меня на этот путь. Первая (и наиболее очевидная), как я отмечал, заключалась в том, что произошло своего рода крушение нашего коллективного воображения. Людей словно подталкивали к мысли, что следствием технологических достижений и всё возрастающей сложности общественного устройства является не расширение, а сужение наших политических, социальных и экономических возможностей. Всеохватывающая работа, посвященная человеческой истории, отразила бы всё многообразие того, как люди обустроили свою политическую и экономическую жизнь в прошлом, и тем самым способствовала бы лучшему пониманию будущего.

Вторая причина, из-за которой я, собственно, и решил, что история, охватывающая пять тысяч лет, будет особенно полезной, носит более утонченный характер. Было очевидно, что

2008 год стал своеобразной исторической вехой — весь вопрос заключался в масштабе. В конце концов, когда находишься в гуще масштабных исторических событий, которые кажутся провозвестниками перелома, важнее всего осознавать контуры более широкой ритмической структуры. Является ли этот кризис феноменом, чей масштаб охватывает поколения, или простым поворотом капиталистического цикла, состоящего из взлетов и падений, или же он представляет собой этап неумолимого движения по шестидесятилетней кондратьевской кривой технологических инноваций и упадка? Или это нечто еще более масштабное и эпохальное? Как все эти ритмы переплетаются друг с другом? Существует ли один основной ритм, который толкает вперед все остальные? Как они вписываются друг в друга, сокращаются, сцепляются, согласуются, сталкиваются?

Чем больше я ломал голову над этим вопросом, тем больше укреплялась во мне уверенность в том, что это перелом самых широких исторических масштабов и что для его понимания мы должны полностью переосмыслить наши представления о ритмах экономической истории.

Конечно, может показаться, что антрополог — не лучший кандидат для такой работы, однако на самом деле мы как нельзя лучше к ней подготовлены. Дело в том, что историки и экономисты, двигаясь в противоположных направлениях, зачастую сбиваются с пути. Экономисты склонны изучать историю при помощи уже готовых математических моделей — и обусловленных ими допущений относительно человеческой природы: для них задача заключается в том, чтобы подставить данные в уравнения. Историки, напротив, придерживаются столь строгого эмпирического подхода, что зачастую вовсе отказываются от экстраполяции; в отсутствие прямых фактов, свидетельствующих, скажем, о существовании демократических народных собраний в Европе бронзового века, они не станут задаваться вопросом о том, насколько разумно вообще предполагать, что такие собрания существовали, или о том, действительно ли они оставили бы сколько-нибудь заметные следы, если бы существовали на самом деле. Они просто исходят из того, что эти собрания не существовали и не могли существовать, и потому относят «рождение демократии» к Греции железного века. Именно поэтому «историй денег» может быть столько, сколько есть историй чеканки монет: раз монеты оставляют вполне осязаемые улики, а записи о кредитах — нет, то историки нередко вообще не рассматривают вероятность существования последних. В свою очередь антропологи придерживаются эмпирического подхода — они не просто применяют заранее заданные модели, но и располагают таким богатым сравнительным материалом, что могут рассуждать о том, какими могли быть деревенские собрания в Европе бронзового века или кредитные системы в Древнем Китае. Кроме того, они могут пересматривать факты на предмет того, насколько они подтверждают или противоречат их утверждениям.

Наконец, антропологи прекрасно осознают, что невозможно говорить об «экономической жизни» как об априорной категории. Еще триста лет назад «экономики» как таковой не существовало, по крайней мере в том смысле, что люди не говорили о ней как об обособленной сфере со своими собственными законами и принципами. Для подавляющего большинства людей, живших в разные исторические эпохи, «экономические отношения» были лишь одним из аспектов того, что мы называем политикой, правом, частной жизнью или даже религией. В основе своей экономической язык всегда был — и остается таким и поныне — языком нравственности даже тогда, когда утверждается, что это не так (как во

времена беспощадной реальной политики Осеевого времени или при «рациональном» анализе издержек и прибыли современных экономистов), а значит, подлинная экономическая история должна быть также и историей нравственности. Именно поэтому глава о принципах отношений — коммунизме, обмене и иерархии — занимает в книге центральное место. Любой спор об экономических отношениях, о правах доступа к ценным товарам или ресурсам или же об обладании ими, не говоря уже о долге, всегда будет переплетаться с различными нравственными дебатами самыми разнообразными способами.

Возможно, во всём этом самым большим источником вдохновения для меня был французский антрополог начала двадцатого века Марсель Мосс — потому, что он, судя по всему, первым признал, что любое общество — это клубок противоречивых принципов, и особенно потому, что он был одним из первых, кто попытался соединить сведения о древней истории с данными современной этнографии для того, чтобы разобраться в странных допущениях о человеческой жизни и человеческой природе, на которых строится современная экономическая наука. В первую очередь он попытался предложить альтернативу «мифу о меновой торговле», который он справедливо определял как основополагающий миф нашей сегодняшней цивилизации.

В истории антропологии Мосс — фигура любопытная. Хотя он никогда не проводил полевых исследований и так и не написал собственную книгу (он умер, оставив множество неоконченных проектов), из-под его пера вышло множество разрозненных эссе, имевших невероятное влияние — практически каждое из них положило начало целому направлению научной литературы. У Мосса была невероятная способность задавать самые интересные вопросы: о значении жертвоприношения, о природе волшебного или о даре, о том, как культурные представления влияют на положение и движения тела, или даже о том, какими мы видим себя. Эти вопросы определили предмет антропологии, поэтому его работа как теоретика имела огромный успех. Однако Мосс также был политическим активистом и кооперативистом и много писал для социалистических газет и журналов, пытаясь применить достижения социальной теории для решения политических проблем — и в этой сфере его усилия успехом не увенчались. Его широко известная работа «Очерк о даре» должна была навсегда покончить с представлением о том, что первобытная экономика основывалась на меновой торговле, однако, несмотря на его авторитет в интеллектуальных кругах, очерк практически не повлиял на преподавание экономики или на общераспространенные воззрения по этому вопросу.

Когда я писал эту книгу, я иногда говорил себе, что хочу написать ту книгу, которую мог бы создать Мосс, если бы сумел преодолеть свою вечную неорганизованность. Я не уверен, что мне это удалось — я даже не уверен в том, что было бы хорошо, если бы мне это удалось — однако я испытываю огромное удовлетворение от того, что в одном отношении я действительно помог осуществить одну из целей его жизни: положить конец мифу о меновой торговле. Кстати, эту цель преследовал не только Мосс — миф оставался больной мозолью для антропологов на протяжении более чем столетия. Когда о нем заходила речь, многие из нас чувствовали себя так, будто мы бьемся головой о стену, потому что видели, как всё ту же историю повторяют до тошноты экономисты, как она воспроизводится в учебниках, рисунках и передается как общеизвестное знание повсеместно несмотря на то, что мы много раз доказывали, что она просто не соответствует действительности.

Разумеется, нужно некоторое время, чтобы понять, насколько глубокой и долговременной будет эта перемена, однако представляется, что успех «Долга» наконец-то повлиял на ситуацию. В этом году Банк Англии выпустил доклад о «Роли денег в современной экономике», который сопровождается видеороликом и текстом, объясняющими происхождение денег; он начинается так, будто дальше опять последует миф о меновой торговле («Представьте себе первобытного рыбака и земледельца, которые хотят обменяться друг с другом...»), однако дальше рассказывается история об импровизированных долговых расписках, которая легко могла быть напрямую позаимствована из моей книги. Несколько моих друзей сильно подозревают, что так оно и было. Я не знаю, так ли это — эта история могла основываться на работах сторонников современной теории денег, — однако должен признать, что моей первой реакцией было желание откупорить бутылку шампанского в честь всех антропологов: после вековых усилий мы наконец-то сумели этого добиться!

То, какое влияние оказала эта книга, удивило — и даже поразило — меня не только поэтому. Конечно, в значительной степени своим успехом она обязана тому, что вышла в очень удачный момент. В этом есть немалая доля иронии, потому что до издания «Долга» отличительной чертой моей интеллектуальной карьеры всегда был выбор наихудшего момента. Я написал длинную, подробную, беллетристическую книгу по этнографии («Потерянные люди») как раз тогда, когда издание больших книг по этнографии стало практически невозможным; я издал работу по теории антропологии («К антропологической теории стоимости») ровно тогда, когда было решено, что эта наука более не заинтересована в теоретических книгах; я выступил сторонником прямого действия прямо перед терактами 11 сентября. Затем, в 2011 году, удачный момент, который я упускал на протяжении полутора десятков лет, наконец-таки настал. Моя книга о долге не просто вышла тогда, когда люди отказались от идеи, что 2008 год был временным сбоем, и были готовы задаться серьезными вопросами о том, что на самом деле означает политика, основанная на долге; я еще и появился в Нью-Йорке, чтобы рекламировать ее, именно тогда, когда стало формироваться социальное движение, основанное на этих идеях и охватившее всю страну и даже весь мир.

Разумеется, я имел отношение к движению Occupy Wall Street. Когда я вернулся в Нью-Йорк в июне 2011 года, я искал какой-нибудь активистский проект и, в конечном итоге, наткнулся на один из них. В нем участвовали восемьдесят с лишним человек, разрабатывавших планы по захвату Зуккоттипарка. Но в то время я не видел связи между книгой и движением. Я изо всех сил старался отделять одно от другого — в конце концов, я не хотел превратиться в эдакого авангардистского интеллектуала, который навязывает свои идеологические воззрения движению; я также считал подлостью использовать общественное движение ради рекламы собственной книги. Во время встреч с активистами и организуемых ими мероприятий я уходил от разговоров о книге, избегал споров о ней. Однако делать это становилось всё труднее. Всякий раз, когда я говорил о книге с любым количеством молодых людей в толпе, по меньшей мере один из них — а зачастую несколько — подходили затем ко мне и прашивали о возможности создания какого-нибудь движения, которое подняло бы вопрос о студенческом долге. Потом, когда началась оккупация Зуккотти-парка — а мы понятия не имели, кто в ней будет участвовать, — мы обнаружили, что самой крупной категорией среди участников были те, кто уклонялся от уплаты долгов. После

разгона лагерей активистов мы стали проводить народные собрания с тем, чтобы узнать, как, по мнению людей, должно развиваться движение, и собрания, посвященные долгу, вызывали куда больший интерес и энтузиазм, чем прочие. Вскоре я присоединился к «Бастуй против долга» (Strike Debt), рабочей группе движения Occupy Wall Street, в деятельность которого я прежде избегал вовлекаться по причинам, изложенным выше, и принял участие в написании «Учебника по действиям борцов с долгом», а также помог сформулировать стратегию «Постоянного списания долгов» («Rolling Jubilee») и других проектов.

К чему всё это приведет, пока еще непонятно. Каким будет интеллектуальное наследие книги или политическое значение движений 2011 года и последующей мобилизации против долгов, окончательно станет ясно только через какое-то время. Я подозреваю — по крайней мере, мне хочется так думать, — что самые интересные споры вокруг вопросов, затронутых в книге, еще впереди. Первая реакция была вполне ожидаемой для книги, в которой была предпринята попытка переосмыслить давно существующие проблемы в непривычном и несколько обескураживающем ключе. Многие американские либералы, например, восприняли изначальную посылку (согласно которой на протяжении тысяч лет существовала связь между организацией империй и иных форм государственного насилия, долгом и формами создания денег) как восхитительное историческое откровение — и затем возмутились, когда я предположил, что такое положение дел сохраняется и после 1945 года (мы привыкли верить в то, что на смену старой системе пришла добровольная и неимперская система, которая только на первый взгляд выглядит и функционирует так же, как прежняя). Многие радикалы просто упрекали меня в том, что я написал именно такую книгу, а не какую-нибудь другую (например, о марксовской теории стоимости или неоклассическую историю экономики). Несмотря на некоторые блестящие исключения — здесь я сразу же вспоминаю о Бенджамине Кункеле, Джордже Каффенцисе, Сильвии Федеричи, — действительно важных разговоров придется, наверное, еще подождать.

Конечно, больше всего я бы хотел, чтобы эта книга хоть сколько-нибудь способствовала более широкому переосмыслению самого представления о долге, работе, деньгах, росте и собственно «экономике». Как я уже говорил, сама мысль о том, что есть нечто под названием «экономика», довольно нова. Может ли быть так, что дети, которые рождаются сегодня, доживут до того дня, когда «экономики» больше не будет, когда можно будет изучать эти вопросы в совершенно ином ключе? На что вообще будет похож этот мир? Сегодня очень трудно даже представить себе его. Но если мы собираемся создать мир, который не будет грозить уничтожением каждому поколению, то начинать переосмыслять проблемы нужно именно в таких масштабах. И в процессе этого переосмысления многие дорогие нам представления — о стоимости труда, например, или добродетельности выплаты долгов — окажутся перевернутыми с ног на голову.

Именно об этом я думал, когда решил закончить книгу теплыми словами в адрес неусердных бедняков во всём мире.

Позвольте мне закончить это послесловие в том же духе, воздав должное Адаму Смигу. Я знаю, что в моей книге великий шотландский философ и моралист показан не в лучшем виде. Отчасти это обусловлено тем, что я говорил лишь об одной стороне его философии —

о его стремлении создать утопическую картину, в которой всё могут просто и честно торговать друг с другом, стремясь к максимальной выгоде, а затем разойтись, не оставшись никому должными. Однако всё это основано на теории о человеческих побуждениях, согласно которой люди, как правило, стремятся в первую очередь стать объектом сочувствия и внимания со стороны других людей. Люди жаждут богатства, потому что знают, что другие больше заботятся о достатке. Именно по этому он думал, что свободный рынок может способствовать улучшению всего: ведь он был убежден в том, что люди не настолько усердны и самовлюблены, чтобы стремиться к собственной выгоде тогда, когда они уже достигли достаточно комфортного положения; иными словами, что они не будут накапливать всё больше и больше богатства просто ради того, чтобы его накапливать. Для Смита стремление к богатству после достижения этого комфортного положения не имеет смысла и даже отдает патологией. Так, в своей «Теории нравственных чувств» он пересказывает историю, позаимствованную у Плутарха:

“ К людям, находящимся в обычном положении, можно применить слова, сказанные эфирскому царю его наперсником после того, как царь перечислил все завоевания, какие он намеревался предпринять. «А после этого что вы намерены сделать, государь?» — спросил его любимец. «Потом, — отвечал царь, — я устрою веселый пир для моих друзей». — «Но что же мешает вашему величеству и начать таким пиром?» — возразил наперсник[884].

Забавно, что, когда я прочитал этот отрывок, я понял, что это практически та же шутка, которую часто рассказывал мой научный руководитель в докторантуре, антрополог Маршалл Сэлинс — хотя в его случае она была превращена в затейливую историю о миссионере, который однажды увидел самоанца, лежавшего на пляже:

“ Миссионер: Посмотри на себя! Ты тратишь свою жизнь попусту, валяясь на пляже.

Самоанец: Почему? Что я, по-твоему, должен делать?

Миссионер: Ну здесь ведь полно кокосов. Почему бы тебе не высушить несколько и не продать их?

Самоанец: А зачем мне это делать?

Миссионер: Ты мог бы заработать много денег и купить на них сушильную машину, сушить кокосы быстрее и заработать еще больше денег.

Самоанец: Хорошо, а это мне зачем делать?

Миссионер: Ну, ты станешь богатым и сможешь купить землю, посадить больше деревьев, расширить дело. Тогда тебе не придется заниматься

физическим трудом, достаточно будет лишь нанять людей, которые будут делать это за тебя.

Самоанец: Хорошо, а это мне зачем делать?

Миссионер: Ну, потом, имея все эти кокосы, землю, машины, наемных работников, ты будешь очень богатым и сможешь отойти от дел. И тебе не нужно будет ничего делать. Ты сможешь лежать на пляже целыми днями.

Версия #1

Зверобой создал 27 июня 2025 00:09:13

Зверобой обновил 27 июня 2025 00:11:00